

КАРНАВАЛИЗАЦИЯ У В.В. РОЗАНОВА

Г.Д. Гачев

У каждого народа есть особый склад мышления, система категорий, или же особое соотношение понятий, присущих и другим народам. Есть что-то, что побуждает вести рассуждение особым образом, среди каких-то своих проблем, их решая и двигая мысль в направлении к каким-то своим целям. «Карнавализация» как ракурс — термин Розанову не родной. Он из модной во второй половине XX в. концепции «человек играющий», которая философскую базу берет себе из книги Й. Хейзинги того же названия и из книги Бахтина о Рабле, где воссоздана народная смеховая культура Средневековья и Возрождения. Суть карнавала — оскорбить высокое и воспеть низкое — но не всерьез, а буффонно: смехово и цинично.

Конечно, в культуре России рубежа XIX–XX вв. Розанов выступает как такой *enfant terrible* («ужасное дитя») посреди чопорных ученых и писателей, поэтов и философов и христиан-богословов. Но он — серьезен, и недаром его первая книга — «О понимании»: понять из себя и наивно все, что припечатано как готовые ответы и ценности, заданные мне. В этом Розанов — супериндивидуалист. И в то же время — супернароден. Он сам — народ, так что не надо ему выходить на площадь-ярмарку общекарнавальную или «каплей литься с массами» (Маяковский) в дионисийстве и революции, а вполне достаточно сидеть за столом, писать книги и статьи в газеты и журналы и так «карнавалить», тогда как изысканным декадентам надобно в «башне» Вяч. Иванова облачаться в хитоны и хорею изображать.

Характерно Бердяев свое впечатление о Розанове передает: «В нем было что-то похожее на Федора Павловича Карамазова, ставшего гениальным писателем. По внешности, удивительной внешности, он походил на хитрого рыжего костромского мужичка. Говорил пришептывая и приплюывая. Самые поразительные мысли он иногда говорил вам на ухо, приплюывая»¹. Ну — это брезгливый аристократ в Бердяеве о Розанове, но верно мужичка почуял. Ну и — что наедине и на ухо, а не скоморох в балагане. Скорее — ему текст сценария пишуций... И нет в Розанове смеха, осмеяния. Смех — подл...

«Карнавализация»! Таким противоестественным Розанову словом приходится приступать к научному «анализу» — расщеплению живого тела Слова Розанова! Отвратительно безвкусно оно на его слух, и он бы поиздевался, как во фрагменте:

¹ Бердяев Н.А. Самопознание. М.: ДЭМ, 1990. С. 137.

«”Бранделяс” (на процессе Бутурлина) — это хорошо. Главное, какой звук... есть что-то такое в звуке. Мне более и более кажется, что все литераторы суть ”Бранделясы”. В звуке этом то хорошо, что он ничего собою не выражает, ничего собою не обозначает. И вот по этому качеству он особенно и приложим к литераторам»².

Ну, словами чужими, готовыми приходится пользоваться. Как вон и самому Розанову жить под противной фамилией своей:

«Удивительно противна мне моя фамилия... СТИХОТВОРЕНИЯ В. РОЗАНОВА совершенно нельзя вообразить. Кто же будет ”читать” такие стихи?

— Ты что делаешь, Розанов?

— Я пишу стихи.

— Дурак. Ты бы лучше пек булки.

Совершенно естественно.

Такая неестественно отвратительная фамилия дана мне в дополнение к мизерабельному виду... Лицо красное. Кожа какая-то неприятная, лоснящаяся (не сухая).

...Женщина меня *никогда не полюбит, никакая*. Что же остается? *Уходить в себя*. Конечно... внешняя непривлекательность была причиною самоуглубления.

Теперь же это мне даже нравится, и что “Розанов” так отвратительно; к дополнению: я с детства любил худую, заношенную, поношенную одежду. “Новенькая” меня всегда жала, теснила...

— Да просто я не имею формы (*causa formalis* Аристотеля). Какой-то “комочек” или “мочалка”. Но это оттого, что я весь — дух... Я “наименее рожденный человек”, как бы “еще лежу (комком) в утробе матери”... А по душе — бесконечно стар, опытен, точно мне 1000 лет, и вместе — юн, как совершенный ребенок... Хорошо! Совсем хорошо...

(за нумизматикой)»³.

Вот выюн-то и угорь! Как ускользает — и от твоей хватки: его определить, но и от своей: как в ходе писания от «не нравится» пришел к «совсем хорошо»! При этом тыкаясь по ходу — Бог знает, в какие щели, вещи и «проблемы» Бытия, очертив вокруг себя некий «Чур!» — универсум, микроЦелое, космос эпизода — и будто без формы, а распахнут во все стороны, и топорщатся, как мочалка, всякая мысль и высказывание. И в этом ему сродни карнавал — как процедура переворачивания и сцепления всего со всем в вольные кругаля игрищ Духа с миром — Бога с творением, как с

² Розанов В.В. Соч.: В 2 т. М.: Правда, 1990. Т. 2. С. 218.

³ Там же. С. 210-212.

женою-супругою, лаская и обсасывая всякую тварину и идею, и мелочишку мешанистую, как табачок и укропчик:

«Папироска после купанья, малина с молоком, малосольный огурец в конце июня, да чтобы сбоку прилипла ниточка укропа (не надо снимать) — вот мое “17-е октября”. В этом смысле я “октябрист”.

(в купальне)»⁴.

И политику туда же — в купель, и туды ее в качель! Ведь «17-е октября» — священная дата истории России: манифест царя о конституции — и уравнил с ниточкой укропа!

Но карнавализация у Розанова — в сплетении таких хороводов из чего угодно — не циническое высмеивание на потеху (как ныне у «постмодернистов», обожающих «карнавал»), но Все-любовь! Ничего минусового нет в мире Розанова.

«Что я все *надавил* на Добчинских. Разве они не рады бы были быть как Шекспир?.. Но “где же набраться Шекспиров”, и неужели *от этого* другим “не жить”?..

Как много во мне умерщвляющего. (Тут же и себя развенчание! — Г.Г.).

И опять — пустыня.

Всякому нужно жить, и Добчинскому. Не я ли говорил, что “есть идея и *волоса*” (по Платону), идея — “ничего”, даже *отрицательного* и *порока*. Бог меряет не верстами только, но и миллиметрами, и “миллиметр” ровно так же нужен, как и “верста”. И все — живут. “Трясут животишками”... (Пузо — неременный элемент карнавала тела! — Г.Г.). Ну и пусть. Мое дело *любоваться*, а не ненавидеть»⁵.

Кавычки и курсивы у Розанова — это оркестровка, тембры разных голосов в хороводе карнавала так означаются. Его тексты — партитуры, симфоническое мышление — даже в миниатюре в строчку. А указание на место озарения мыслью: «(в вагоне)», «(за нумизматикой)» — то же уравнивание «миллиметра» и «версты». Литота и гипербола, бинокли на увеличение и уменьшение непрерывно вращаются и переворачиваются в текстах Розанова. А «за нумизматикой» — это как генерал-бас, органнй пункт на Вечности: оттеняет мгновения и настроения контрастом Древности, но и причащает к всеЦелому...

Параметры карнавала и карнавализации разные и многие описаны М.М. Бахтиным, и среди них «амбивалентность». Но у Розанова — не «амби» (двое), но ПОЛИвалентность: многое в клубок, пучок и веник вяжет, «куча мала» параметров, вещей и

⁴ Там же. С. 374.

⁵ Там же. С. 298.

идей, реплик-стилей живородно съединяются — в «свальный грех» и «групповой секс» Всебытия. Все ведь любимо — даже и когда бранится, пришептывая и плюясь...

Подмечаю еще особенность карнавализации у Розанова. Карнавал вообще чужд рефлексии, экстравертен, направлен наружу от субъекта, играющего всем, но не собой. Ум же и дух Розанова снует туда и обратно: в предметы любые внешние, но и в себя — в сократовой работе «познай самого себя». Как же отказать вольному духу себе в этом? И чего ради? Ради читателя? Литературы, печати? Да пошел ты, Гутенберг да читатель — «К черту!»⁶. «Я песню для себя пою», — как цыганка у Пушкина. «Зачем? Кому нужно? Просто — мне нужно»⁷. Так что карнавал, что хоров и народен, коллективен, — тут на службе индивида, «я», личности — «эгоистическая» процедура самонаслаждения самопознанием в страсти кончиков пальцев к писанию.

Тогда как же «народность»? Да Бог с вами! Кто более простой и народный русский человек, чем Розанов, из обедневшего провинциального дворянства, почти мещанства, — и душу народа выражает? Не Мережковский же и Брюсов!.. Правда, не крестьянин, а слободской горожанин, хотя и огородничал в нищем детстве. Но мужика не обожает, как и Горький, и пейзажей природы тургеневских не встретишь. Нет, горожанин и журналист — до мозга костей — Розанов. Природу воспринимал дачно: грибки да варенье, а не коса и «савраска», как Толстой и Некрасов: то-то комплексовал перед ними и превыше ценил. Толстой — тот, кто в русской литературе бездетных бездельников и «лишних людей» Труд да Семью восславил; а Некрасова стих «Еду ли ночью по улице темной», как пушкинское «Когда для смертного умолкнет шумный день», — звенели в его душе неумолкаемо.

Горожанин — да, и карнавал — явление площади городской и уличного шествия. А они, как и толпность всякая, Розанову противны:

«...а ведь по существу-то — Боже! Боже! — в душе моей вечно стоял монастырь.

Неужели же мне нужна была площадь?

Брррр...»⁸.

Хотя: газета и журналистика — площадное дело, уличное. Так что, сидя в редакции за столом или у себя дома («полежать бы!»⁹), Розанов вполне площадной был фигляр и фокусник в Слове России! Канатоходец, рискующий подвергнуться оплеванию и растерзанию чернью литературной критики, ученых и умников, декадентов и

⁶ Там же. С. 195.

⁷ Там же.

⁸ Там же. С. 259.

⁹ Там же. С. 258.

богословов. И это его — тонизировало: провокатор, дразнить любил провокативными ходами ума, ошеломлять ими, шельмец! — всякие общие места, клише и общие мнения интеллигентского сознания свежевать, переворачивать и наоборот, и вбок, а то и в харю и рожу кому... Это тоже карнавальное делание. И так он на каждом шагу совершал открытия в миропонимании и суждениях.

Что Розанов «площадной», — в сопоставлении с «подпольным человеком», сим персонажем-амплуа-маской в русской литературе, рельефно проступает. Никакого стыда и утаенности, но все — в открытую: и грехи, и пороки. Какие грехи?! Раз под Богом хожу и Он меня видит и ласкает — и жenuшкой, и солнышком, и рецензией критика, обвиняющего то в «юдофобстве», то в «оскорблении чести и достоинства русского народа». Он весь — избыток, подпольный же человек — ущемлен, недостаток. И в рефлексии не самоеден он, но весел и смешлив. Это не романтическая ирония, в коей человек себя «прекрасной душой» в грубом мире, его недостойном, ощущает и возвышает. Нет:

«Все “величественное” мне было постоянно чуждо.

Я не любил и не уважал его.

Я весь в корнях, между корнями. “Верхушка дерева” — мне совершенно непонятно (непонятна эта ситуация)»¹⁰.

Нет, не Манфред в горах, но и не Раскольников в углу-гробу...

Розанов — такой житейский человек-семьянин и горожанин-«буржуа» среднего достатка, человек любви ко всему, а не эстетски избирательно, как Леонтьев, — восстает на защиту «мещанства» против надменного аристократизма.

И в амбивалентности оценок он, кто при корнях (ниже нету!) — не презирающ ничто, но все возвышающ — или углубляющ (что одно и то же в процедуре карнавализации). Это — и в статьях и книгах его. Кто так углубил и возвысил пол, гениталии, красоту «брачного завитка», понял иудейство и Ветхий Завет! Он первый так глубоко прочел «Легенду о Великом инквизиторе», так что все русские умники — вослед ему. И кто так ужаснулся Гоголю — с высоты Любви к человеку!

То есть в карнавале по трассе — вверх-вниз — и облагораживающая работа ума и духа возможна. И не просто шута в короли возводить, но мертвечинное шутовство Гоголя с благородно высшей точки взвидеть — и пожалеть беднягу, обделенного любовью... И напротив: кто только не шпынял Толстого и кто вообще не тешится над «благими намерениями»! А вон как он их восценил:

¹⁰ Там же. С. 413.

«Но вот в чем он их всех (Пушкина, Лермонтова и Гоголя — Г.Г.) превосходит: в благородстве и серьезности цельного движения жизни; не в “что он сделал”, но в “что он хотел”».

Пушкин и Лермонтов “ничего особенного не хотели”. Как ни странно при таком гении, но — “не хотели”... Но никто не напряжен у нас был так в сторону благородных, великих идеалов... О “чем грезилось ночью” — у Толстого выше, чем у кого-нибудь»¹¹.

А в связи с другим — и Толстому по шапке — за славолубие, что мало ему было быть великим писателем, но похотелось ему прослыть Буддой и Шопенгауэром...

В культуре Запада при карнавале четки вверх-вниз, как и в построениях Фрейда и Юнга, с кем сравнивают Розанова. У тех СУПЕР-Эго, ПОД-сознание, как и в философиях СУБстанции (под-станции) и «основания». У Розанова же рыхло, как в русском космосе все вкривь, вкось и вбок, в «сторонку-родимую»...

«Нужно разрушить политику... Как это сделать?.. Перепутать все политические идеи... Сделать “красное — желтым”, “белое — зеленым” — “разбить все яйца и сделать яичницу”...

Погасить политическое пылание через то, чтобы вдруг “никто ничего не понимал”, видя все “запутанным и смешавшимся”...»¹².

Как в воду смотрел в сем пародийном пророчестве (элемент карнавализации): через век, у нас ныне так и случилось, где «левое» стало «правым» и наоборот, и ничего не понятно. И «все смешалось в доме Облонских» — во России. Так что у нас вектор карнавала возможен в любую сторону.

«...Уклончивость всех вещей от определения своего, уклончивость планет от “прямой”»¹³...

Четко различенное и оформленное смешать в кашу, аморфность, в «ни то, ни се», в «ни рыба, ни мясо», в средний род — это в духе русского космоса Апейрона — Беспредельности. Нет у Розанова четкой оси: вертикаль–горизонталь. Но все топорщится, как и волосы его, что гимназистом тщетно помадил, пытаюсь пригладить. Но оттого и магия соединения невероятностей в один сюжет:

«В энтузиазме:

— Если бросить бомбу в русский климат, то, конечно, он станет как на южном берегу Крыма!

Городовой:

¹¹ Там же. С. 358.

¹² Там же. С. 433.

¹³ Там же. С. 563.

— Полноте, барышня, климат не переменится, пока не прикажет начальство.

(наша революция)»¹⁴.

Целый универсум намалеван широким мазком раздольным — из абсурдных рядом-положений: курсистка, климат, Крым, городской и приказ начальства. Ну и — «наша революция». И все друг друга остряют и карнавализируют... Ну и, конечно, и традиционные опрокидывания верха в низ работают: «Литературу я чувствую как штаны»¹⁵.

«Революция имеет два измерения — длину и ширину; но не имеет третьего — глубины. (Это еще логистика в законе, а вот и сдвиг: в «розановство» — Г.Г.). И вот по этому качеству она никогда не будет иметь *спелого, вкусного плода*; никогда не “завершится”...»¹⁶.

Вот тебе, Троцкий, к твоей «перманентной революции»!..

Из рыхлости космоса России и начинать фразу может из ниоткуда, не с начала и не с большой буквы, а так: «...и бегут, бегут все... чудовищной толпой. Куда? Зачем?..»¹⁷ — и оканчивать многоточием. Так и в России — ничто не начинается и не кончается, а «все тянется, и тянется, и тянется», как в предсмертном сне князя Андрея... Не *ab ovo*, а *in medias res* (не «с яйца» Леды, а «с середины дела»), с любой точки уколет:

«Посмотришь на русского человека острым глазком...

Посмотрит он на тебя острым глазком...

И все понятно»¹⁸.

А ведь ничего не сказано: содержимого — нет! А выразил ведь — что? А русское понятие великое — «НИЧЕГО!» — что есть авгурная (понятная посвященным) тайна русского Бытия: «Как живешь? — Ничего». Универсальное слово-идея, как «того...» Акакия Акакиевича, этого бессловесного русского домового...

Карнавал в культурах Запада имеет дело с четко расчлененными структурами социума: Дом Бытия — из уровней и этажей. Мир оКАНТован! — и веселое дело смешивать и переворачивать пирамиды и вертикали. У нас же «порядка только нет», все расплзается, ну и в Логосе русском кашлица — пища наша. И стиль Розанова — причудливый стиль русских пословиц, которыми восхищался: уравнил их по совершенству — с чем?

«Хорошо делают чемоданы англичане, а у нас хороши народные пословицы.

¹⁴ Там же. С. 382.

¹⁵ Там же.

¹⁶ Там же. С. 301.

¹⁷ Там же. С. 223.

¹⁸ Там же. С. 199.

(собираюсь в Киев). († Столыпина)»¹⁹.

И одной припиской ситуации локальной: едет на похороны Столыпина — черт знает, какой клубок-колтун спутан в голове и заставляет думать...

Конечно, в работе карнавала у Розанова и привычные идеи-спутники: цирк, смех, присутствуют: «Любят люди пожар. Любят цирк. Охоту...». Да ведь в контексте каком? Как раз с презрением к этой страсти толпы к похахатыванию и поруганию высокого и, напротив, с восторгом к благородному: «Едва напишешь что-нибудь насмешливое, злое, разрушающее, убивающее — как все люди жадно хватаются за книгу, статью. — “И пошло и пошло”... Но с какою бы любовью, от какого бы чистого сердца вы ни написали книгу или статью с *положительным содержанием* — это лежит мертво...»²⁰.

А пресловутый Смех — совсем не в чести у Розанова. Это нигилисты — смеются:

«Смех не может ничего убить. Смех может только *придавить*.

И терпение одолеет всякий смех.

(о нигилизме)»²¹.

И Розанов избирает сторону терпения. И тут приходит на ум, что Ю. Трифонов книгу свою о террористах-народовольцах назвал «Нетерпение».

«Два ангела сидят у меня на плечах: ангел смеха и ангел слез. И их вечное прекание — моя жизнь...»²². Ангела — не демона! Демонического нет в Розанове, в отличие от Гоголя, чей смех мертвит. Правда, слезы — воскрешают («смех сквозь слезы»).

И вообще роскошь противоречить себе — гносеологический принцип понимания и высказывания обо всем в вольномыслии Розанова. И внутри каждого фрагмента происходит карнавализация: обстановка спорит с высказыванием. Вот как сам Розанов осмысляет это в Постскриптуме к Первому коробу «Опавших листьев»:

«Место и обстановка “пришедшей мысли” везде указаны (абсолютно точно) ради опровержения фундаментальной идеи сенсуализма: “*nihil est in intellectu, quod non fuerat in sensu*” (нет *ничего* в интеллекте, чего *не было бы* в чувстве, лат. — Г.Г.). Всю жизнь я, наоборот, наблюдал, что *in intellectu* (в интеллекте — Г.Г.) происходящее находится в полном разрыве с *quod fuerat in sensu* (тем, что было в ощущении — Г.Г.). Что вообще *жизнь души* и *течение ощущений*, конечно, соприкасаются, отгалкивают-

¹⁹ Там же. С. 432.

²⁰ Там же. С. 207, 206.

²¹ Там же. С. 223.

²² Там же. С. 217.

ся, противодействуют друг другу, совпадают, текут параллельно, но лишь в *некоторой* части...»²³.

Так что умное и чувственное у Розанова и поясняют, и обрушивают друг друга. Все — даже не в диа-логе, а в поли-логе. И ничего окончательного, припечатанного однозначным суждением и словом. А в веселом клублении противоположностей как различий-личин, а не убийственных полюсов «да или нет?! — выбирай!». Скоморох, провокатор, юродивый — бесстыжий, раздевается: «дураки этакие, все мои сочинения замешаны не на воде и не на масле даже, а на семени человеческого, как же вам не платить за них дороже?»²⁴. И пишет прямо архетипами, стихиями: спермой, пневмой, воздухом, огнем, землей. Вон как — о Флоренском:

«Вся натура его — ползучая. Он ползет, как корни дерева в земле.

Воздух — наиболее отдаленная от него стихия. Я думаю, он вовсе не мог бы побежать. Он запнется и упадет. Все — к земле и в землю»²⁵.

А про себя: что пороки его — не огненные...

Как живописец малюет прямо суриком, охрой и лазурью, а не разводными красками, так и этот — прямо стихиями, материями. Первичным, а не вторичным. Самочувствие хозяина бытия. На карнавале ведь нет гостей, а все зрители — участники. Так и Розанов, — созерцатель-деятель.

Это я вчера книгу Бахтина о Рабле переглядывал, освежить набор «параметров карнавализации» (слова не своего языка и вкуса — по примеру Розанова, заключаю в кавычки). И понялось: начало XX в. в России — эпоха Ренессансная (Ренессанс в России вообще не точечен, а растянут: с XVII по XX вв.), полоса «цветущей сложности» (Леонтьев), многоголосия, праздник вседозволенности: все себе позволяют титанические индивидуалисты-личности. Это — как масленица — между строго идейных и серьезных эпох: 60-80-х XIX в. и 20-70-х XX в. В этой исторической щели и Розанов: беззапретен — и внешне, и без внутреннего цензора-редактора. Фамильярность — с каждой персоной русской литературы: что с Гоголем, что с Щедриным, с Герценом, с Толстым... — всем по шапке себе позволяет дать-проехаться, из настроения сего дня, с левой ноги вставши, а потом, с правой, — себя же опровергнуть. И все — весело и без зазрения. Избыток Бытия выражая, Его агент и вословесник-записыватель — «записывающее устройство» Его Логоса. Озорник — как и у Горького («Максимушка» — близок Розанову по народности, понизовости), любимый персонаж. Ванька-встанька! Только укокошит себя, положит на спину меланхолическим саморазоблачением: и

²³ Там же. С. 418.

²⁴ Там же. С. 534.

²⁵ Там же. С. 319.

жизнь не удалась, и писание его никчемно... — как тут же вскочит, как кочет, и закукарекает петушинно-рассветно, как в том фрагменте, где начал с отвращения от фамилии своей, а пришел к самовосславлению своего пути и благодарению. Или: что глуп я, но рядом — что лишь трех человек умнее себя встречал и что я — «великий писатель» (но и не без ерничества к себе: очень много страниц написал, и просто зуд в кончиках пальцев, как у оратора — на кончике языка...). Глупость моя — Мудрость. Дураченье, что в стиле карнавала. И русскую литературу представляет как шествие дураков, хотя тут же — что лишь ее любит и только ее умеет делать и ею живет. И снова честит ее последними словами: божьба, брань, проклятия — все в ход идет, всякое слово, и площадное, простонародное. Не кабинетная карнавализация, как дионисийство ученого филолога Вяч. Иванова, в декадентской имитации хороводовых вакханалий «на башне»... Нет, он сидит себе в редакции или на дому с «другом»-«мамочкой» и с «папироскою» — и запузывает в воз-Дух какие угодно цветные шарики идей и суждений, выделявая их в податливом ему материале Слова. Промеж себя карнавальные игрища пушая. Народный индивидуалист!..

Сама история русской мысли — это жизнь ваньки-встаньки: стоит, получит удар, пригнется, а то и падет — и опять встанет. Ну и оттого еще в то время вседозволенность и праздник русского Слова, что кругом — зараженный воздух: чума, последние времена, светопреставление приходит (революции близь, апокалипсис и эсхатологическое мироощущение) — как это в «Декамероне» или в «Пире во время чумы» Пушкина, — так что: сейчас или никогда! — высказаться на пределе и по абсолютному счету. Без удержу и без меры: гиперболы-преувеличения в каждом суждении. Ну разве можно так: «пороть профессоршешек!? Так неэтикетно...». Или: «Вообще драть за волосы писателей очень подходящая вещь»²⁶.

На карнавале — ритуальное растерзание. И вот фрагменты Розанова — это растерзание «высокого штиля» русской классической литературы — больших периодов, фраз Толстого, Достоевского... Словно разнуздался синтаксис — и синтагмы заторчали сами по себе, без лишних связок, союзов: «поскольку», «потому что»... — А не «почему»! «По качану!»... Потом в синтаксисе Марины Цветаевой в подобном бессознании (без жвачки их логики) — мощная энергия, воля и саможизненность.

И вот еще особенность карнализации у Розанова: нет у него «вперед!», культура будущего и молодого-нового, но как бы карнавал наоборот — вспять. «Время, вперед!» — лейтмотив обычного карнавала. А у Розанова как в реплике Мусоргского: «Ушли? Врешь — все там же!». Вечность и статус-кво Бытия, что прекрасно, как есть:

²⁶ Там же. С. 319.

в благоговении мгновений, дат и мест — и нечего менять. Новаторы, революционеры, декаденты у него — в минусе, «посечь бы их маненько!». Претензии улучшить и переменить — это от глупости и отсутствия слуха на красоту наличного бытия. Так курсистка бомбой климат Руси на климат Крыма разжечь чаёт. В том же мироотношении, как Розанов, потом и Пастернак: зрит убогость и неодаренность тех, кто все переделывать уповает — в «Докторе Живаго»...

На карнавале — пророчества будущего, гадания, предсказания. И у Розанова их полно — проницательнейших, прямо в наше время, но и буффонных...

«Будет больше научности, больше филологии, даже добропорядочности больше будет, но *позолоты времен* не будет.

И не будет вдохновения.

Ибо могучие деревья вырастают из старых почв.

(в мыслях о русской реформации)»²⁷.

Так что Розанов — это карнавал консерватора. Не за технику, а за дедовские способы... и рожания. Гигантские усилия ума, слова и понимания в произведениях Розанова употреблены на то, чтобы преимущества Ветхого Завета перед Новым, иудаизма и Египта — перед христианством объяснить и восславить. Вспомним его скандальный доклад, прочитанный в Петербургском религиозно-философском обществе, «О сладчайшем Иисусе и горьких плодах мира»: как из невероятной сладости Иисуса — мир прогорк, все Творение Бога-Творца опрокинуто!.. В этом делании Иисус — карнавализатор нормальный, в духе Эдипова комплекса: «сын», молодое убивает старое (Новый Завет заменяет Ветхий) и женится на достоянии Отца — на мире как жене-супруге Бога. «С рождением Христа, с воссиянием Евангелия все плоды земные вдруг стали горьки. (Кстати, частое «вдруг» у Розанова, как и у Достоевского, — знак переворачивания колеса Бытия, оператор карнавализации данного предмета — Г.Г.). Во Христе прогорк мир, и именно от Его сладости. Как только вы вкусите сладчайшего, неслыханного, подлинно небесного, — то вы потеряли вкус к обыкновенному хлебу. Кто же после ананасов схватится за картофель?»²⁸. Вот характерная гиперболизация в восхищении, приподымание — чтобы свергнуть: короля — в шуты (и наоборот).

Подобно также гиперболизирован ужас перед нашествием еврейства на Русь — в «Сахарне» и проч. Хотя к еврейству у Розанова — «влечение, род недуга»: и восхищение, и ужас. Через «микву» любимые свои идеи о рожавшем женском лоне развил: что «у евреев есть *самое это понятие, что “неприличное” и “святое” может совме-*

²⁷ Там же. С. 359.

²⁸ *Розанов В.В.* Несовместимые контрасты жития. М.: Искусство, 1990. С. 426.

щаться! совпадать!! быть одним!!! (Карнавализация нарастает через прогрессию восклицательных знаков! — Г.Г.). Ничего подобного, конечно, нет и невозможно у христиан»²⁹.

А как расписан «материально-телесный низ» у погружающегося в микву женского тела: «При спуске приходилось “разевать широко ноги”... Перед глазами ее в течение десяти минут было зрелище “широко разеваемых” ног, закругленных животов и гладко выстриженных (ритуал) — до голизны — стыдливых частей. “Все в человеке — подобие и образ Божий”, — мелькало у поднимающихся в эту экстатическую религиозную минуту»³⁰. Вот карнавализация, — дерзкая, на грани кощунства!

...Но тут задумался: у Розанова — все дочери, и нет сына! И что бы это могло значить, как отразиться в его миропонимании?.. Эдипов сюжет незнаком ему, и под этим углом рассмотрение проблем у него не встретишь, в отличие от многих мыслителей в XX веке... Но впрочем — он сам Эдип: из лона мамочки словно не выходил, «недорожденный», и все к нему льнул. А в жене — «друге» — тоже мамочку нашел — и так ее все время именуется... Вечный сын... И не оттого ли и его ревность к «Сыну Человеческому»?..

Не любил Розанов прогресса. «Вперед» Истории им не любим, и вот как опорожен: «“После эпохи Меровингов настала эпоха Бранделясов”, — скажет будущий Иловайский. Я думаю, это будет хорошо.

(за нумизматикой)»³¹.

Взад бы Прогресс да колесо Истории раскрутить! Карнавализация у Розанова консервативная — такое противоречивое сочетание, «оксюморон».

²⁹ Розанов В.В. Соч.: В 2 т. М.: Правда, 1990. Т. 2. С. 219.

³⁰ Там же. С. 220-221.

³¹ Там же. С. 218.